

Мстиславский Сергей Дмитриевич

**Пять дней. Начало и конец
февральской революции**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 001
ББК 72
С32

С32 **Сергей Дмитриевич М.**
Пять дней. Начало и конец февральской революции / Мстиславский Сергей Дмитриевич –
М.: Книга по Требованию, 2026. – 96 с.

ISBN 978-5-519-98075-3

В Содержание: Февр. переворот. 3-е марта. Арест Николая II. 25-е окт. День Учредит. Собр. Участие России в первой мировой войне, (1914-1917), Переписка личного характера История, СССР, Период Великой Октябрьской социалистической революции (март 1917-1918 г.), Воспоминания Ц35(2)523, 013Т3(2)711, 013.1

ISBN 978-5-519-98075-3

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2026
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2026

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг — не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель — вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания — решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

одних растегнутых мундирах. Стрельба за дальней оградой, на Парадной, усилилась. Я вошел в опустелый академический под'езд.

В прихожей канцелярии, писаря и чиновники тесной толпой обступили четырех гусар нашего эскадрона и человек шесть запыхавшихся, тяжело дышавших преображенцев. Вахмистр, отрапортовав, рассказывал, уже «своими словами», дежурному штаб-офицеру:

— Пришли кучей: Шабаш, ребята, выходи на улицу. Люди вышли, как были, ни винтовок, ни шашек не взяли. Патронов—те-то—искали, не нашли. А цейхгауза не тронули.

— Пьяные?—кривит губы полковник.

— Никак нет. В себе народ, как есть.

— Эскадрон весь вышел?

— Все, без спору, кроме нас четверых.

— Ну, спасибо за службу. Куда же нам вот преображенцев девать?

Раз'яснилось: когда вольницы вышли и двинулись снимать соседние батальоны, ближайшая к ним команда преображенцев, накануне бывшая на усмирении, разбежалась, опасаясь расправы. К ним присоединились и те—вольницы, литовцы, преображенцы,—что вообще «напугались скандалу», как об'ясняли они нам потом в академическом подвале. «Статочное ли дело: господ офицеров, слова не говоря—до смерти... За это ведь отвечать надо».

Беглецы бросились на наш плац, сначала в манеж, а затем, когда вольницы и литовцы ворвались в ворота,—дальше к Таврической и Суворовскому музею. Часть укрылась в здании Академии, куда, до них еще, «спаслось» несколько офицеров тех же восставших полков.

— В подвалы их что-ли?

— Надо с осторожкой,—говорит вахтер, Платоныч, поводя лисьим, рыжим, словно вынюхивающим лицом.—Найдут, разнесут всю Академию. Лучше бы в типографию, в бумажную кладовую.

Затесавшийся сюда же метранпаж, высовываясь из-за припомаженных писарских голов—протестует визгливым фальцетом: и прятаться в кладовую плохо, и вход в типографию прямо с плаца. Но Платоныча привыкли слушать в делах хозяйственных: преображенцев сдают метранпажу—для размещения за бумажными кипами.

В профессорской сумрачно, до жути. Даже ходят тихо, сдерживая звон шпор. Нахмуренные. Все молчат. Только один из самых древних наших генерал-лейтенантов бубнит, тряся седыми бакенбардами, упрямо, словно споря, хотя никто ему и голоса не подает:

— Пустяки. Вернутся. Вернутся и покаются. Куда им идти?.. А? Вот именно: куда им идти?

И в шестой раз нажимает кнопку звонка в офицерское собрание:

— Что же они там... гм... чаю не несут?

Чиркая по паркету сбившейся на каблук шпорой, быстро и взволнованно входит дежурный офицер.

— Преображенцы подняли на штыки Богдановича.

Кто-то перекрестился. Заведующий хозяйством, младший из нас и по кавалерийски откровенный, хмуро оглядывает осевшие по всем углам генеральские плечи:

— Ну-с, если найдется у них теперь прапорщик с голдрвой—наделают они дела...

Пойти было некуда.

Революция застала нас, тогдашних партийных людей, как евангельских неразумных дев, **спящими**.

Теперь, через пять лет, непонятным кажется, как можно было в нарастании февральской волны не почувствовать (не говорю уже «осознать») надвигавшейся бури: ведь к этим дням многие из нас готовились годами—долгими годами царского подполья, напряженной, жадной, верящей мыслью... И когда пришла, наконец, она,—долгожданная, желанная:

— Некуда было идти.

Уверен: когда исполнятся времена и сроки, и станет на очередь «история февральской революции»,—найдутся очевидцы и участники, которые засвидетельствуют о прозорливости каких-нибудь комитетов, о каких-нибудь совещаниях, и за взмывами рабочей и солдатской «толпы» постараются привычным жестом историка подставить фигурки каких-нибудь «героев». Так было, так будет. Ведь даже по горячему следу,—когда тотчас после переворота «Союз офицеров 27 февраля» попытался установить ход событий, запросив по полкам участников Февральского восстания,—мы получили на вопрос о том, кто первый вывел Волынский полк—семь заявлений—семи, приписавших себе этот начальный для февральского переворота акт. Семь описаний выхода волынцев, ни в чем почти не сходных друг с другом. Поставленный в необходимость (по должности тов. председателя Союза)—разобраться в семи свидетельствах этих,—я успокоился на уверенности, что полк вывел, в действительности, кто-то восьмой, безымянный,—заявления нам, как и должно было ожидать, не приславший.

И это было в дни, когда переворот, во всех подробностях своих, еще жил перед нашими глазами, когда можно было проверить каждое слово. Что же будет писаться через годы, когда уже мохом поростут могилы февральских убитых...

Но на деле—кроме кружков, варившихся в собственном соку или, еще того хуже, в военно-патриотических восторгах, социалистические партии тех дней не имели ничего. И пойти было некуда...

На улицу? В «очевидцы?»

Дома—найдут скорее.

Суворовский плац остался водоразделом. «Передовые части противника»—несколько солдат с винтовками, без подсумков и даже поясных ремней, в расстегнутых шинелях—дошли только до караулки—на полпути от Манежа к главному зданию Академии: в самое здание не заходил никто. Профессора и слушатели разошлись по домам, сдав, в большинстве, шашки на хранение в Академический музей, так как получено было известие, что на улице разоружают офицеров.

Стрельба на Парадной и Кировой смолка: уже часа три не слышно было ни одного выстрела. На Суворовском по-прежнему было безлюдно и тихо, и по-прежнему, перед самыми нашими окнами, на углу проспекта и Таврической, у Сберегательной кассы (в помещении которой **сегодня в ночь—упорно говорили в Академии—**состоялось революционное совещание, на котором был «сам» Керенский)—стоял, переминаясь, зазябший Преображенский пикет.

Только около часу дня зазмеились по тротуарам, просачиваясь от Невского и Бассейной, вереницы прохожих: здесь, там,—у ворот и под'ездов стали накапливаться кучки, настороженные, ждущие. Мелькнули, наконец, первые солдатские шинели. Солдаты шли вразброд, без оружия, отжимаясь к стороне и словно стесняясь любопытных взглядов останавливавшихся, обертывавшихся к ним прохожих...

К пикету подошла смена. По уставному. Солдаты подтянулись, построились. Разводящий отдал команду... Но в тот же миг, кругом сгрудилась неведомо откуда, сразу выросшая толпа. Заслонила. И когда она рассыпалась снова—пикета уже не было: двое «вольных» вели под руки, махая шапками, молодцеватого ефрейтора с георгиями,—а над головами расходившихся—победными трофеями взметывались отданные винтовки.

Словно ждала этого улица. Ожила, затоптала сотнями ног. Закружились, засвистали целыми рядами высыпающие из переулков, из

за ворот на мостовую, на самую ширь улицы—подростки. Перехватили одинокого, улыбу тлнувшегося извозчика, с двумя сѣдоками: военным врачом и штатским. Кричат в перебой. Врач встает в санях, с трудом протаскивает сквозь прорезь пальто жиденькую потнутую железную шашченку, отдает толпе и сам что-то кричит и смеется. Толпа отвечает радостным гулом, расступается и извозчик трусит дальше.

Бичом стегнул по напрягшимся нервам пронзительный, дерзкий, долгий автомобильный гудок. Мгновенно разбрызнулась по тротуарам шумевшая посреди улицы, на трамвайных рельсах, летучая сходка и—стоголосым победным ревом дрогнули стекла: крутым виражем, сворачивая с Суворовского на Таврическую, проносится под нашими окнами синий, императорскими золотыми орлами на дверцах тускло мигнувший Лимузин, с красным, бешено бьющимся о древко флагом у руля, весь переполненный вооруженными. Матросы Гвардейского экипажа. Кричат. Машут... За первым почти тотчас второй, такой же нарядный и страшный.

А навстречу, уже от Таврического, грузно и прозно, еле ворочая цепями передач, проползает грузовая платформа, вся оцетинившаяся штыками. Солдаты, рабочие, студенты, женщины... Передний ряд, навалившись на плечи шофферов, держит ружья на изготовку.

Весь зачернел людьми Суворовский проспект. В Заячем переулке, на-перекосяк от Академии, идет митинг. Выпряжена ломовая телега, и с нее, высая над головами, пошатываясь на зыбком помосте, сменяют друг друга ораторы—в картузах, шапках, котелках и просто длинноволосые... Пронли с Таврической, шаркая туфлями по снегу, в арестантских халатах, кучкой,—десятка три женщин. На Суворовской рассыпались: прощаются... Из наших ворот, по-прежнему без шапок и шинелей, крадучись, выбирают на проспект, вмешиваясь в толпу, спасающиеся у нас преображенцы.

Жена возвращается из города: всюду то же. Автомобили и толпы. Разбит арсенал. Говорят, одних браунингов разобрали по рукам несколько десятков тысяч. Стрельбы по улицам много, но все зрячая: палят больше подростки—у них у всех почти револьверы...

«Видел женщин? Уголовные из Литовского. Тюрмы открыты».

А на углу бурлит мертвой зыбью на месте густая, радостная, все нарастающая толпа...

Затаившись за выступом дома—резко, во весь свист, подал сигнал подросток. Оглянулись на Таврическую: все разом. И хлынули, давя друг друга к панели; буравя отбегавшую толпу, пробираются вперед, щелкая затворами, вооруженные... Студенты, рабочие... Рассыпаются в цепь поперек Таврической.

Но снова кто-то кричит и машет. И снова—возбужденно, призывно колышась, отзывается толпа. Дула опускаются. К цепи, на раскормленном могучем, ширококостном караковом жеребце, горяча его, под'езжает солдат артиллерист, салютуя широкой блестящей офицерской шашкой.

— У-ра-а-а!

К солдату теснятся. Придерживаясь за стремя, в припрыжку провозжат его сквозь толпу ребятишки. Взлетают вверх шапки. Истукленно палят в воздух на тротуарах подростки. Медленно, пляшущим шагом едет солдат, красуясь, выгибая шею коню мундштучным железом...

Должно быть, выступила гвардейская артиллерия...

Вечереет. Тише на улице. Таврическая запружена людьми: тянутся ко дворцу.

Дрогнул в кабинете телефонный звонок.

«Товарищ Мстиславский? Говорит Капелинский».

Капелинский—меньшевик-интернационалист. Секретарь Петроградского союза рабочих потребительных обществ, председателем правления (а затем тов. председателя Совета) которого я был в военное время, между прочими делами. Он был арестован месяца полтора-два назад, при ликвидации рабочей группы центрального военно-промышленного комитета, лидеры которой: Богданов, Гвоздев, Бройдо, были в то же время наиболее активными работниками правления и нашего союза: по связи с ними, был «приобщен к лику» и Капелинский.

Раз он на свободе—значит «Крестов» действительно нет.

— Сейчас же приходите в Таврический, комната № 13. Ну, дождались, кажется! Смотрите только: скорее.

— Иду.

Вешаю трубку. Иду собираться. Штатское пальто поверх френча: прикрыть погоны от недоразумений на улице.

Опять трещит звонок:

— Это я, Капелинский. Может быть, прислать автомобиль? Мы ведь сейчас не как-нибудь...

— Не стоит: тут два шага.

Темным кажется приземистый, распластавшийся по земле Таврический дворец,—хотя весь он, от окна до окна, горит огнями; зловеще светится на тусклом ночном небе его стеклянный купол. На площадке перед дворцом и на улице—трещат костры. Грузовики, автомобили, толпы солдат и вольных. Море голов—во все стороны, куда ни взгляни. Справа, слева, из-за насупленных, тесно обступающих нас домов и труб, поднимаются к небу крутыми, полыхающими извивами багряные столбы... Горит Окружный Суд, горит Жандармское управление на Тверской, горит каланча на Старо-Невском...

У ограды и, в особенности, у под'езда дворца сильные солдатские караулы. Вход—только по мандатам заводов и воинских частей, и специальным пропускам. Но проламываются, в давке, и «безбилетные». Проламываюсь и я.

«13-я комната. Направо по корридору».

Сворачиваю и натыкаюсь на Соколова,—известного всему политическому Петербургу «Николая Дмитриевича», защитника по революционным делам и всегдашнего устроителя всяческих общественных совещаний. Он ухватывает меня под руку. «Идемте скорее, собрались делегаты от восставших полков, надо организовываться, надо действовать. Часть войск осталась на стороне правительства, в городе идут уже бои».

Делегаты (один вольноопределяющийся, один фельдфебель, все остальные—простые рядовые, «бородачи»), чинно сидят вдоль стенки, без оружия. Соколов спрашивает, что нужно нам для «штаба».

— Прежде всего, план Петербурга.

— Откуда его возьмешь?

— Из Суворинского «Всего Петербурга»: здесь в Думе, где-нибудь на верное есть.

Соколов уносится (всегда быстрый, сегодня он—точно на крыльях) искать план. Мы начинаем, взаимным опросом, выяснять обстановку.

Нельзя сказать, чтобы она была особо радостной—со «штабной» точки зрения. Правда, численно—на стороне восстания безусловное большинство. Прилегающие ко дворцу «военные кварталы» поднялись целиком—только о 9-м Запасном кавалерийском сведений нет: человек

15 конных этого полка здесь, во дворе Таврического; но что со всем полком случилось—они не знают. Кроме волынцев и литовцев вышел гвардейский экипаж, вышли егеря, павловцы, лейб-гренадеры, московцы, преображенский батальон (что стоял на Кирочной, о втором,—на Миллионной,—ничего не известно), саперы, гвардейские артиллеристы. Только учебные команды большинства названных полков остались в казармах, отсиживают и даже отстреливаются при попытках «вольных» проникнуть за ворота. Нет финляндцев: по некоторым сведениям они не примкнули и держат Тучков мост, часть Васильевского острова и Петербургской стороны. Конные полки и казаки либо нейтральны, не выходят из казарм, либо у Хабалова. Петропавловская крепость молчит, но не за нами: на стены выставлены полевые орудия, наведены на мост, но огня не открывают. Флотские экипажи на Крюковом канале, заперты в казармах, казармы оцеплены, так что матросы едва ли знают даже толком, что на самом деле в городе делается. Нет военных училищ, нет пеших дружин, расквартированных по окраинам... Ну, да ополченцы наверное покидали уже ружья...

Сколько войск у Хабалова, какие именно части и где они—в точности не знает никто. На Сенатской площади какие-то войска в строю: пехота, эскадрона два кавалерии, батарея: очевидно, не наши, так как «наших»—в строю нет, ни единой роты: все расплылись. На Дворцовой—тоже войска: там, повидимому, главная квартира Хабаловцев. Морская—за ними, но телефон, видимо, нейтрален, так как отвечает на вызовы с Таврической. А может быть, это и нарочно делается, для осведомления: ведь свои сведения «они» могут передавать по военно-полицейским проводам...

Что делается на вокзалах—неведомо.

Если к сведениям этим приложить трафаретный военный масштаб—положение наше катастрофично. Правда, Хабалов сделал коренную, грубейшую ошибку, оттянув свои войска в самый центр города, т.-е. дав «мятежу» охватить их со всех сторон, вместо того, чтобы вырваться как можно скорее из «заразной зоны» за городскую черту, притянуть подкрепления и, изолировав «очаг мятежа», каковым сейчас является Петербург, перейти затем в планомерное концентрическое наступление. Такой метод действий давал правительствам в прошлой истории восстаний, неизменно, твердый и быстрый успех. В городе же революционная атмосфера разбивает правительственные войска вернее всяких баррикад... На нее, и в нашем случае, приходилось возложить все надежды: На... «стихию». Только.

Но... подлинно ли в городе революционная атмосфера?.. Я вспомнил утренних преображенцев, вспомнил толпы безоружных солдат, бродящих по городу, палящих в воздух подростков и беспутно мечущихся по улицам автомобили. Если бы у нас была хоть одна спаянная, сохранившая строй часть... Ни артиллерии, ни пулеметов, ни командного состава, ни связи. Из офицеров, кроме старшего лейтенанта Филипповского—старого товарища по эсэровской военной организации еще девятидесяти годов, пришедшего минут через 15 после меня,—во дворце нет никого. Был какой-то капитан стрелкового армейского полка, послушал, послушал нашу сводку, покачал головой и пошел...

— Препишешь тут с вами... Как кур во щи...

Днем попытка Хабалова продвинуть какие-то части против волынцев к нашему «городку» разбилась о задержавшие движение уличные толпы: действовать оружием офицеры не решились. Но на ночь толпы разойдутся, не будет на пути живых—пусть безоружных, но восставших, подлинно восставших—рабочих застав. Останется войско против войска. И в поединке этом—на нашей ли стороне сила?

В ночь правительственные войска должны перейти в наступление, если там, в том стане, хоть у кого-нибудь голова на плечах. Конечно, Хабалов только покромом штанов похож на Галифе и больших военных талантов за ним не числится: но в штабе-то у него может же найтись «прапорщик с головой». А если найдется,—с чем встретим мы неприятеля?

Дворец заполнен солдатами. Но пытаться организовать их и вывести в строй,—отказываются сами же депутаты. Люди измаялись за день, большинство не ели с утра.

«Только на свету, народом держатся...»

Оторвать их от этого «света и народа», двинуть в жуткую мглу улиц, в сумрак застылых пустых вокзалов, выслать их в разведку, сторожевое охранение—лучше не пробовать.

— «Зря и их, и себя беречь»,—качают головами депутаты.—«Измаялся за день солдат. Опять же, для многих непривычно, так-то, налегке, без присяги...»

Да и сами депутаты определенно тянутся от «штаба» к «Совету рабочих и солдатских депутатов», заседание которого должно вот-вот открыться в соседнем с нами зале. Иные так и говорят: «мы не к вам, мы в Совет посланы». Та же тяга—к «свету и народу». Да и накопилось у них, хочется других, не военных слов.

Что же, может быть, они и правы...

А все же надо ударить на Хабалова раньше, чем он ударит на нас.

Наша комната понемногу заполняется собирающимися на заседание Совета... В соседней комнате уже не продохнуть. Много рабочих, но много и интеллигенции, различных «левых» оттенков, и просто даже «корреспондентов». «Рабочая группа» вся на-лицо: ей, вместе с социал-демократическими депутатами Думы—Скобелевым и Чхеидзе—естественно первый голос: они—хозяева. Из «крайних левых» вижу только большевика Шляпникова и эсэра Александровича, да двух—трех «по конспирации» знакомых рабочих.

Перебегает от группы к группе распорядителем кажущийся Соколов; разлетающиеся от порывистых движений фалды его распахнутого сюртука кажутся особо нелепыми в этой напряженной обстановке (План, к слову сказать, он нам принес—чуть ли не из кабинета «самого» Родзянки).

Нас просят перейти: под «штаб восстания» отведены комнаты № 41 и 42—в противоположном крыле дворца: кабинет товарища председателя Государственной Думы (Некрасова) и смежный зал. Туда будут направлять и сведения и людей, особенно офицеров... буде таковые явятся...

Но войсковые депутаты уже вмешались в толпу ожидающих открытия заседания Совета; иду один в Некрасовский кабинет.

Просторная, пустая комната. Ярко, во всю гроздь своих лампочек горит люстра. За письменным столом, под стоячей, тоже зажженной лампой,—Керенский, в сюртуке, со с'ехавшим на бок галстуком, подписывает подаваемые ему кем-то, незнакомым мне, в пиджаке и косоворотке, бумажки,—отчетливо, с размаха прищелкивая их штампелем. пропуска.

Мы пожали друг другу руки. Я сел насупротив, на свободный стул.

Человек в косоворотке принял последнюю бумажку и вышел.

— Ну, что, Сергей Дмитриевич, мы, кажется, дожили-таки!

Он порывисто и весело встал, потянулся весь вверх, словно расправляя затекшие члены и, вдруг, расхохотавшись, задорным мальчишеским жестом хлопнул себя по карману, засунув в него руку и вытащил старинный огромный дверной ключ.

— Вот он где у меня сидит, Штюрмер. Ах, если бы вы только видели их рожи, когда я его запер!

Снова принесли на подпись пачку пропусков. Керенский подписывал, не читая, размашисто расчеркиваясь и продолжая рассказывать об аресте Штюмера. «Что было с Родзянкой! Ведь он совсем-было расположился принять его в родственные объятия»...

Вошел Некрасов — как всегда непроницаемо-благодушный, медлительный, округлый, глянцеви́тый и прочный. Улыбнулся, поздоровался, сказал пару незначительных фраз и увел Керенского за собою.

В соседней комнате гудели голоса. Открыв дверь, я увидел Филипповского, окруженного десятками, двумя офицеров разных родов войск, по преимуществу прапорщиков. Молодые, радостно возбужденные лица. Начало, стало быть, есть.

Быстро разверстываемся. Филипповский принимает на себя комендатуру Таврического дворца и с частью офицеров приступает к подготовке его обороны, «на случай»... Мне приходится заняться действиями вне дворца, в городе...

Среди явившихся во дворец офицеров—«местных», здешних нет ни одного: все — фронтовики, прибывшие в Петербург в отпуск или командировку. Поэтому связи с полками у них нет. Тем не менее, при их помощи, формирования начинают как будто налаживаться. Действуем так: офицер получает задание, идет к солдатам, скопившимся в залах дворца, или даже на площадку перед дворцом и вызывает охотников: «Вандейская система»—так во время Вандейского восстания действовали роялисты. Этим способом удастся составить и выслать прежде всего команды на Николаевский и Царскосельский вокзалы и разведки—по главнейшим направлениям. На дальние вокзалы пока не посылаем—все равно не дойдут... С Финляндского, совершенно неожиданно звонит военный врач, по собственной инициативе занявший его еще днем со сборным отрядом из солдат и рабочих. Доносит: в районе тихо. Однако, просит подкреплений: такова сила «традиции».

Подбирается ударная группа под командой поручика Петрова — помнится, стрелка—с тремя георгиями и золотым оружием. Смелый, крепкий,—смотреть радостно. Он привел с собой в Таврический целую команду, с которой, еще в прошлую ночь, т.-е. до выступления волынцев, перестреливался до самого утра с Павловской учебной командой, через Марсово поле, залегши на Лебяжьей канавке, что у Летнего сада. Команда эта быстро обрастает людьми, и когда мы получаем первое тревожное известие: об обратном занятии противником арсенала,—мы имеем уже возможность двинуть к нему Петрова с полутора-стами штыков.